



Фантастический рассказ

Ночной разговор начался с моего утверждения, что Азовское море — самое земное из всех. Соединенное бесчисленными проливами с океаном, оно глубоко врезается в толщу Европейского материка.

Иные даже утверждают, что оно как бы не море, а скорее озеро — вода в нем малосоленая, в нем нет приливов и отливов, нет и коренных морских обитателей.

И все-таки оно море!

От его серой ласковой воды пахнет йодистым простором и свежестью, звезды над ним яркие и четкие. Под шум азовских волн на человека накатывает необычное созерцательное состояние, когда мысли и образы рождаются словно бы не в мозгу, а где-то внутри тела. Мнятся невиданные, угадываемые создания, сердце распирает тоска о неизведанном, или, точнее, изведанном, но забытом. Словно возвращается время детства и ранней юности, когда запросто летал или плавал в выдуманном — родня и ровня всему неясному, что было вокруг.

Вокруг Азовского — безбрежные, как океан, теплые и ласковые степи. Так, вероятно, выглядел берег той обетованной земли, на которую вышли наши рыбообразные предки. Ведь не могли они, безногие, бескрылые, выползти на скалы, на каменную осыпь — колючую и обжигающую днем, замораживающую ночью.

Азовское море, как ни одно другое, прогревается ровно на всю глубину и поэтому несет в себе густой, парной не столько запах, сколько дух водных равнин. И подобный парной дух, причудливо сплетаясь с горьковатым, пряным, как привкус морской воды, запахом степных просторов, тоже, вероятно, манил наших предков. Развиваясь в определенной среде, они должны были выползть только на такие вот берега, и запахом и теплом своим похуже на привычное для них дно.

Может быть, поэтому с особой силой на Азовском море накатывает на человека древнее и властное, едва ли объяснимое словами чувство, которое мы условно называем чувством единения с природой. Впрочем, сейчас вот говорят о клеточной памяти человека, и многое из того, что каждый переживал на морском берегу, становится как-то обыденно просто и в то же время грандиозно сложно.

Может быть, в самом деле память клеток влияет на психический мир человека. Ведь всякий знает, что никто не лечит неврастеников с такой мудрой и бережной простотой, как лунные вечера на берегу моря, как мерцание звезд над его маслянисто-черной гладью, как его штормы и истомные штили. Недаром каждый, кто хоть раз побыл у моря, тянется к нему так, как не тянется человек ни к лесу, ни к степи, ни к горам. И нет ничего удивительного в предсказании писателя Ефремова о том, что будущим межзвездным путешественникам эта память клеток будет мешать больше, чем трудности на героическом пути познания новго.

— Верно говорят,— перебил мой собеседник — высокий и стройный старик.— Хоть и с изъязном, но — верно.

Мы случайно встретились в этот вечерний затаенный час на берегу, долго молчали, поначалу ощущая взаимную неприязнь,— человеку у моря иногда очень важно побыть одному. Потом незаметно разговорились.

— Вот именно — память клеток. Она живет помимо нашей воли, и ее, конечно, можно и подавить и заглушить, но можно и усилить — ведь есть в ней и нечто замечательное, я бы даже сказал — возвышающее. И в то же время словно бы растворяющее человека в чем-то огромном — в природе, что ли, в бытии...— Старик долго смотрел на ровное, матовое в свете звезд стекло воды и добавил: — А вы, видно, здешний — «г» у вас мягкое, южное, но и пошаталось, видно, по белу свету всласть: говорок у вас — как бы это половчее выразиться,— разномастный.

— Говорок г у вас... разномастный.

— Я здесь родился.— Старик усмехнулся.— А потом сбежал.— Он подумал и утвердил: — Именно сбежал, а теперь... обратно бегаю.

На западе, за черным и безмолвным Таганрогским заливом, дрожало светлое марево городских огней. Неожиданно и небо над дальним городом и черная духовитая гладь моря вспыхнули багровыми и алыми отсветами, стало тревожно и неуютно. То, чем мы жили на пахнущем тлением и рыбой глинистом берегу, стало исчезать.

На мартенах шлак выпускают,— отметил старик.

Мы смотрели на полыхание багровых отсветов, и, когда увидели, как звездное небо опять улеглось на дрожащее марево обычных городских огней, старик закурил и стал говорить:

— Вот память клеток теперь выплыла, и, может, еще что выплывет, что люди иногда и замечали или чувствовали, но понять не могли. Вот вы, наверно, тоже слышали рассказы о том, что в старое время осетра, белуги, севрюги здесь было невпроорот. И в иной год шли они так густо, что каюки ломали.

Были такие рассказы-легенды о путинах, когда на базарах красная рыба стоила гроши, а икра — лаюсная, зернистая — продавалась бочками, а свежая — жировая — была дешевле постного масла.

Вы не задумывались, почему такого не бывает теперь? Ну, знаю, знаю... Война, браконьерство, плотины, что перегородили пути к нерестилищам, — все знаю. Но коль скоро и вы эти места знаете, то не можете не согласиться, что и в прошлые времена в этих вот местах красную рыбку брали варварски. Можно сказать, современные браконьеры — просто ангелы по сравнению с тогдашними честными рыбаками.

В этом была своя правда. И Дон в гирлах и выше перегораживали сплошными сетями, и в море ставили посуду — длинную, километра в два-три, веревку, увешанную ярусами остро отточенных крючков. Красная рыба натыхалась на эти крючки, кололась и рвалась в сторону. Только сотая из таких ободранных рыбин запутывалась в «посуде», а девяносто девять, обрывая кожу и тело о голые страшные крючья, вырывалась и уплывала в море залечивать раны или помирать. И все-таки было той рыбы так много, что даже уроженец этих мест А. П. Чехов отмечал, что в каждом русском трактире обязательно подается белуга с хреном, и недоумевал: сколько же ее нужно для этого вылавливать!

— Всего я понять не могу, да и вы не поймете, мало мы еще знаем. Но я верю, что ученые найдут пути, по которым рыба опять вернется в море, и будет оно кишмя кишеть и красной рыбой, и рыбцом, и таранью, и даже тем же самым бычком — хоть песчанником, хоть подкаменником-черномазиком. Но в одном я уверен, что тех необыкновенных путин, о которых нет-нет да и вспомнят местные старики, уже не будет. И не потому, что рыбы будет меньше, а по другой причине.

Погодите, не спрашивайте, раз я начал рассказывать — расскажу до точки. Вы, видно, человек, простите старика, с блажью в голове, если в такую ночь можете сидеть здесь, не то в степу, не то на море, и думать свою думку. А поскольку и я с блажинкой, так мы с вами общий язык найдем, и, может быть, вы мне кое-что и объясните: опять-таки вижу, что вы за наукой следите более обстоятельно, чем я.

Видите правее — огоньки. Вот то и есть родные огоньки. Поначалу там поселились, как говорили, двойные казаки. Казаки в квадрате. Почему? А потому, что казаки — это русские люди, сбежавшие в свое время от своих помещиков и богатеев в надежде на волю и добрую жизнь. Но потом и у самых вольных казаков образовались свои богатей. Так вот сюда при-



Рисунки В. КОВЫНЕВА

шли те казаки, которые сбегали от своей, казачьей верхушки. Ну и, понятно, народ это был отпетый, никого и ничего не боявшийся. Да того не боявшийся, что во время Крымской войны они атаковали английские военные корабли в... конном строю. И представьте, победили. Случай невероятный, однако справедливый. Бомбардировавшие Таганрог английские корабли вынуждены были отойти от берегов: подул норд-ост, а по-казачьи — «верховка». Ветер выгнал воду из Таганрогского залива, и корабли сели на мель. Вот тут и атаковали их казаки в квадрате. Отчаянный, говорю, народец был... Ну, может быть, еще и потому, что места тут уж больно просторные.

Я знал — места действительно просторные. Гладь моря, буро-красные лбы глинистых отрогов над нею и гладь степи. Крепкий, как настой чабреца и водорослей, проявленный солнцем, небывалый воздух. В глубоких балках с обрывистыми берегами на повесне ползут ручейки, но к середине лета иссыхают. Однако в балках пахнет сыростью, и не морской, а дальней, равнинной, домашней сыростью, словно подчеркивающей просторность и чистоту этих мест.

Жили тут по-всякому — кто пахал, кто рыбалил, кто кое-чем промышлял, в том числе и мелким разбоем.

Был недалеко от наших мест превосходный бугор, словно обрезанный с двух сторон глубокими балками. Как раз к нему и подходили густые косяки красной рыбы...

Нет уж, вы не перебивайте. Знаю, что вы скажете — красная рыба косяками не ходит. Это не селедка. Правильно. Только отчасти. К этому бугру красная рыба приходила именно косяками, и такими густыми, какими ходит только селедка или хамса.

На несколько суток столько сюда осетров, севрюг, белуг и даже стерляди набивалось, что просто диву можно было даваться. Над заливом в эти дни и особенно ночи прямо-таки скрежет стоял как на реке в первый, самый густой ледоход, — с таким остервенением рыба терлась друг о друга своими



костяными наростами. Вода становилась как перекипяченный калмыцкий чай, густой, темный, — ил со дна поднимался; куда ни глянешь, везде мелькали рыбы хвосты, как косые паруса маленьких рыбацких байд. Повсюду торчали, нюхая наш необыкновенный воздух, колючие рыбы носы.

От того необыкновенного рыбьего средоточия, костяного шуршания, всплесков, а может, и еще из-за чего-нибудь на душе было муторно, злобно и тоскливо. Словно бы хотелось вырваться из чего-то, уйти в совершенную неизвестность, но в какую-то такую, которую как будто не то что знаешь, а как бы предугадываешь.

Под это костяное шуршание все время казалось, что и рыба тоскует и печалится оттого, что не дано ей выйти на берег, не дано подышать степным вперемишку с морским, необыкновенным воздухом, поползать, пошуршать шелковистым ковылем и горькой полынью, — словом, попробовать какой-то другой, очень заманчивой жизни. Может, потому и заманчивой, что не похожа она на ту, которая уже есть и, по всему видно, никуда, к сожалению, не денется.

Не знаю, как кому, но мне в такие годы — а они на моей памяти были всего раза три, не более — казалось, что рыба приходит в эти места не случайно, что ей надоело болтаться в сырой воде, а как выбраться на сухую землю, она не знает.

Вот в такие ее косячные приходы и жирели местные рыбаки. Били они эту рыбу баграми, тянули руками, оглоушивали деревянными молотами, которыми лед для ледников колют, совершенно сатанея от крови, слизи и невиданного богатства. Но вот что удивительно — как ни жадничали, как ни лютовали, а все-таки почти никто больше двух дней такой бойни не выдерживал. Плевался в сердцах, ругался и решал: «Хай она скажится, и та рыба и то богатство — совсем с ума спятить можно».

В третий день рыба еще как бы толкалась, как бы раздумывала и осознавала, что на берег ей не выбраться, что необык-



новенный воздух не для нее, и начинала медленно расходиться. После этого пропадала она надолго и ловилась в заливе как и всегда ловится. А в необыкновенные годы косячного хода вот как раз на таганрогском базаре икра и стояла кадками и макитрами.

И еще было замечено, что после такого уловистого года на превосходном том бугре поднимался невиданный бурьян — жирный, пахучий и такой густой, что продраться сквозь него не было никакой возможности. На второй год бурьян был поменьше, потом еще меньше, а потом все входило в норму. Ясно, что косить тот бурьян никто не косил, и, может, потому земля на бугре была иссиня-черной и чернозем тот был приметно толще, чем по соседству, а сам бугор — выше.

Ясное дело, на такую землю под самым косячным местом зарилась многие. То тот, то другой, бывало, перебирался, строился, огородь разводил, птицу-живность. Может, от бурьянов или еще от чего, но каждый, кто здесь поселялся, словно бы пропитывался грустным, желчным бурьянным запахом и задумывался. Умирать, правда, никто не умирал. Наоборот, даже старики словно бы крепчали и молодели — морщинок у них становилось меньше, спина распрямлялась, а главное — глаза молодели. Пропадала в них стариковская тускловатость, и появлялось что-то туманное, грустное, но — молодое.

Но жить здесь никто подолгу не жил. Два, три, редко — четыре года. Потом новоселы распродавали живность, скарб, каюки с байдами, бросали мазанки и уходили. И никто в родные селения не возвращался: всех тянули дальние места. Растекались люди по всей России, а иные нанимались на заграничные пароходы и вовсе пропадали.

На Чертовом бугре при мне никто не селился. Только остатки саманных хибар — груды оплывшей глины с соляной на провесне проступали сквозь прошлогодний бурьян. Вот этими-то хибарами и попрекал меня отец:

«Я тебя растил, я тебя кохал, а ты совсем сдурел — повадился на Чертов бугор. Ты шо, не знаешь, шо оттуда только сумные думки тягают? Полудурком решил стать? Ты ж как то перекасти-поле — хоть верховка потянет, хоть низовка, а тебя все волочиг не знаю куда. Будешь забываться, помяни мое слово, — еще занесет тебя к Чепурихе, как то перекасти-поле».

Долго он ругался и грозил, что опять пороть начнет, но только напрасно — парень я был из крепких, а батя у меня уже в годах. Однако слова его меня проняли, да не с той стороны.

Справа от бугра шла Чепурихиная балка. Под осень, когда из Сальских и Задонских степей задувала верховка, кубарем летели призрачные кружевные шары перекасти-поля и оседали, как бы проваливаясь, в глубокой и извилистой Чепурихиной балке. Тем перекасти-полем Чепуриха топилла свою халупу, всю нашу недлинную и не очень уж лютую зиму.

А потому что с топкой в наших местах испокон веков трудновато — степи же кругом, люди говорили, что Чепурихе и тут черт помогает.

Но не перекасти-поле было виноватым, что Чепуриху не любили и твердо верили, что она с чертом не в прятки играет.

Самые старые наши старики говорили, что еще в их молодости Чепуриха была ну, может, чуть помоложе, чем в мою пору. Известно было, что первого мужа она похоронила, второго унесли в море льды, третий был убит по пьяной драке. С той поры замуж Чепуриха не выходила — жила вольной казачкой, но казаки, а также народ прохожий у нее гостевали.

Баб наших это очень злило. Ведь по всем правилам должна была та Чепуриха быть древней старухой, а к ней нет-нет да и забегал какой ни то зажиточный, справный хозяин. Сбегал, жил у нее в халупе, потом подобру-поздорову собирался и уходил в неизвестном направлении. Все знали: раз съякшался человек с Чепурихой — на родное поселье его не жди. Задурит его Чепуриха, и уйдет он за своей дурной долей черт те куда.

Ну и то сказать, могла задурить Чепуриха? Могла. Одевалась она чистенько, гладенько, во все яркое и ловкое. Станет она в церкви в сторонке — смуглая, прямая, как тот тополь, и казаки не на царские врата, а косячком на нее вызверяются. Бабы, конечно, шипят.

Посмотреть, конечно, было на что, хотя Чепуриха казалась и не очень красивой. У нас бабы и красивее бывали. Но жила в Чепурихе задумчивая приятность. Глаза темные, смиренные, но пристальные, с легкой усмешечкой в уголках, между беленьких морщинок. Лицо чистое, но сразу видно — женщина немолодая. Рот великоватый, губы не очень уж яркие, но улыбочивые, с лукавиной. Нет, ничего особенного в ней не было, а все ж таки...

Имени ее давно никто не помнил, а называли все Чепурихой. Это опять-таки от ее любви к своеобразному наряду, к ярким, чистым краскам, оттого что вся она была очень уж аккуратная с виду, не оплывшая, а крепкая, хоть и раздавшаяся в талии, высокогрудая, смуглая. Идет, и сразу видно — следит за собой женщина, чепурится. Не забыли, что такое чепуриться? Прихорашиваться, украшать себя, следить за собой.

Но почему, спрашивается, хоть и не любили люди Чепуриху, а все ж таки мирились с ней?

А все потому, что никто, кроме нее, не знал, в какой день должны были подойти к Чертовому бугру косяки красной рыбы. Как она это узнавала, от кого и по какому случаю, никто понять не мог. Но только она узнавала. Годами, бывало, не показывалась по нашим посельям, а то вдруг шла прямо по домам и говорила:

— Собирайтесь, люди добрые, на разбой — рыба завтра к утру будет.

И ни разу не ошиблась. В заливе закипала вода, из нее торчали роговые, принохивающиеся к берегу, к незнакомой желанной земле, печальные рыбьи носы.

Вот так и получилось, что отец своей ругней заставил меня вспомнить о Чепурихе. А как вспомнил — так уж забыть не мог и в один раздумчивый, прокаленный солнцем вечер не выдержал и спустился с бугра до ее халупы.

Халупа как халупа. Дверь и окно возле него. В самый овраг выходит маленькое окошко — отдушник из клетухи. Там у нее куры, да гусаки, да овцы с поросенком. Рядом с хибарой — погребок с клуней поверху. Вот и все хозяйство.

Под застрехой, как водится, перец висит, таранка с чебаком вялятся. И — чистота. В наших местах бабы аккуратистки. Чистоту любят и чистоту блюдут. А у Чепурихи так аж блестяще все. Дворик перед хатой выметен, дорожка вымощена плитняком, в балочку — ступеньки. А сама хата аж переливается, не иначе крейду — это мел — она с мылом мешала. Понизу и возле окон — разноцветные разводы, как у полтавчанок.

Осмотрел я все ее хозяйство, а зайти к ней не могу — боюсь чего-то. Верно говорят — если брехать долго, так все равно что-нибудь да останется. И ведь не верил я в людскую брехню, а все ж таки в душе что-то ворочалось. Однако тут она сама на порог вышла, остановилась, руки под грудь убрала и смотрит на меня. Глаза темные, внимательные и улыбочивые.

«Что, казак, батьки не испугался, а передо мной струсил?»

«Зачем струсил? Просто... Пошто непрошеным в дверь гуркотеть?»

Она улыбнулась. Век не забуду той улыбки — ясной, открытой и в то же время с лукавиной. Так улыбнулась, что я сразу понял, почему даже семейные у нее пропадали.

— Ну что ж... Заходи. Гостем будешь.

Зашел, осмотрелся. Хата и хата. Стол да пара табуреток. В комнате кровать, комод с зеркалом, юбки на стене на палочке, как на вешалке. Полы земляные, примазанные глиной, притрушенные песочком. Пахнет вкусно — травками, толленным молоком и еще чем-то здоровым.

Сижу, молчу. Она прислонилась к притолоке, руки под грудь сжала и тоже молчит, только глаза светятся — интересные глаза. Как в них ни взглянешь, они все кажутся другими, и от этой их удивительной разности становится постепенно не по себе. Жутко мне под такими глазами было, да еще в тишине. От страха, должно быть, чтоб самому себе казаться смелым, я и вякнул:

«Смотрю на тебя, тетка Чепуриха, и не пойму: почему тебя люди считают чертовкой?»

Она вскинула брови, усмехнулась, руками под грудью перебрала, но промолчала. А я возьми и продолжи:

«Понять не могу, а чувствую — есть в тебе что-то от нечистого. Есть».

Сказал и побледнел: обидится, выгонит, на всю округу ославит, а то еще напустит порчу. Ведь хоть жила на отшибе, а вот, поди ж ты, знала, что меня батя ругал, знала, что бабы сплетничали. Значит, кто-то ж ходил к нэй, передавал пересуды.

Но Чепуриха не обиделась, вздохнула и ответила очень раздумчиво:

«Другого б отшила так, что навек запомнил, а про тебя слыхла. Потому говорю — сама, дружок, не знаю. Чистое ли тут дело, нечистое — не знаю, а только сама на себя смотрю и себя не понимаю. Иной раз, веришь, аж зареву. Но разве бабы слезы когда-нибудь помогали? Так ничего и не знаю».

«Как же так? Живешь, а не знаешь? Так не бывает».

Она вспыхнула, выпрямилась, но ничего не ответила, круто повернулась и вышла. Я посидел, посидел, тоже вышел и ждал ее до той поры, пока на небе не высыпал Чумацкий шлях. Но так и не дождался.

Несколько дней все думал о ней — неприятно, что из-за собственной трусости обидел человека, да еще в тот момент, когда у того человека мне навстречу как будто открылось сердце. Не выдержал и пришел. Сел на приступочках, сижу, смотрю на море. Слышу, Чепуриха вышла, стала надо мной и молчит. Весь вечер так она и простояла, а я просидел. И ни словом, ни полсловом не обмолвились. И, знаете, от этой тишины, от молчания мне как-то хорошо стало. Как будто внутри что-то отпустило и голова стала свежей.

Через пару дней опять зашел, и мы с ней тем же порядком промолчали весь вечер. И уж не знаю, на какой раз, но только она первая встряла в разговор:

«Шалый ты все-таки парень. Ох, и шалый! Помяни мое слово — не усидишь ты в здешних местах».

«Это ж почему?» — не оборачиваясь, спросил я.

«Да так уж, видно, на роду тебе написано».

«Говорят, что тот, кто возле тебя покрутится, обязательно далеко уходит».

«То верно,— согласилась Чепуриха, и в голосе у нее прозвучала словно бы гордость и в то же время горечь.— Но только ты одно прикинь по себе — почему они сюда приходили? — Я сообразил не сразу, и она нетерпеливо пояснила: — А как думаешь, к тетке с такой славой, как у меня, придет человек степенный, распорядительный, у которого в голове все дома и все на местах? — Я молчал, и она уже рассерженно продолжала: — Кто мне только такой и придет, который уже в душе свсей ни черта, ни людей не боится, которому уже все надоело. Душа у него наболит, намается, хочется ему от той проклятой жизни, которая ему крылья режет, сбежать, а еще не может. И не может не потому, что слабый — такие слабыми не бывают, а потому, что не знает, как сбежать и куда сбежать. Вот и идет ко мне. Надеется, что я его с нечистой силой сведу и она ему все подрасскажет. Вы ж народ такой. Хоть и слывете двойными казаками, а тоже на рожон не больно лезете. Все наверняка хочется, чтоб не прогадать. А того, дураки, не понимаете, что настоящая свобода потому и свобода, что она без расчета вашего паскудного, без хаты, без скотины, без жирной жинки под боком, без своей земли за перелазом».

Долго она говорила, а вернее сказать, ругалась, и чувствовал я — правильно говорит. Человек, которому все в его жизни нравится, ни на Чертов бугор не вылезет звезды считать, ни тем более в Чепурихину балку не скатится.

Это уж когда человек внутренне надорвется и остановится, чтобы осмотреться, самого себя послушать и в самом себе разобраться, — тогда он и на бугор полезет и в балку покатится. А уж там, за той внутренней чертой, ему и в самом деле уже не многое страшно, потому что он уже сам все знает: и как родные-соседи о нем говорят, и как здороваются с опаской, и смотрят на него нехорошо. Потому что видят — выкатился человек, как горошина из общего мешка. Сам он уже в мешок не запрыгнет, а поднимать его и обратно заталкивать вроде бы расчета нет: гороха в мешке и так много.

С того вечера стали мы уже подробней толковать, но чаще всего просто молчали.

Очень хорошо было с ней молчать. И опять я понял тех, кто у нее пропадал.

Возле нее я становился как-то чище, крепче, и голова становилась такой ясной и понятливой, что прямо удивительно было, как же я до сей поры мог жить такой неинтересной жизнью. Невольно приходили на мысль рассказы бывалых людей — а у нас их хоть пруд пруди,— и хотелось самому распрямиться да попробовать, какова она, настоящая-то жизнишка, на вкус, на цвет и на излом.

Чепуриха меня уже не дичилась. Но того первого, чистого порыва не случилось, да и улыбчивого света в ее глазах я не видел. А без него, мне казалось, спрашивать о ее потаенном — дело гиблое. Может быть, еще и потому, что понимал — должен я благодарить ее за то, что открывает она своей женской, а не бабьей душой какую-то большую и светлую правду. А какую именно, толком не понимал.

Но одно твердо знал — все, кто бывал у нее, все были перед ней чисты: И она перед ними и перед людьми тоже чистая. Потому что не баба таким требовалась, а совсем иное. Сильное, светлое и обязательно чистое: люди-то от грязи, от нудогги бежали, и если б они и тут то же встретили,— они б ушли, потому что бывают в человеческой жизни такие переломные моменты.

Недавно я вычитал, что будто бы человеческий организм, весь, до самой последней клетки, обновляется не то за четыре,



не то за семь лет. Точно сейчас я уже не помню, но думаю, что это правильно, и не потому, что это наука доказала, а потому, что сам это постоянно в себе ощущаю. Все вроде идет нормально, правильно, а вдруг закортит, заночует — и все хочется переделать.

Слабые в таком разе начинают пить, а кто посильнее — тот в дорогу собирается и в иной раз всю судьбу меняет. А бывают и сильные, да трусливые. Те помянутся, зло на других сорвут и успокаиваются. В то лето, наверное, и во мне шло такое обновление клеток, и они, молодые, чуткие, с острой памятью, мытарили меня, звали к новой жизни.

Видно, и Чепуриха то чуяла, потому что в редкие наши разговоры она никогда меня не отговаривала, а только вздыхала.

«Я б далеко ушла, на самый край света, за новой жизнью, да боюсь».

«А чего? Ты ж вроде не из пугливых. Живешь одна, даже злыдней не боишься».

«Смерти я боюсь, вот чего. Тут уж не верю, а знаю — уйду отсюда и скоро помру. Потому и держусь».

А почему — опять не сказала.

Уже перед осенью сидели мы на берегу, слушали, как море глину перемывает, и Чепуриха вдруг разговорилась.

«Откуда я знаю, почему рыба придет? А от земли... Земля мне рассказывает.— Она помолчала и бросила ракушку жемчужницы в воду. Ракушка скользнула по волне, зачерпнула краешком и пошла на дно.— Заметил — без звука утонула? Вот так и мне земля рассказывает — без всякого звука. Тишиной».

Должно быть, у меня был глуповатый вид, потому что Чепуриха рассмеялась — звонко и неудержимо. И тут в ее глазах мелькнуло то самое выражение простоты, открытости и чистоты, которое я так долго ждал.

«Думаешь, сумасшедшая? И то верно — на голос в такое не поверишь. Пойдем, сам послушаешь».



Она вскочила с прогретого за день песка и, чуть покачиваясь на ходу, не оглядываясь, пошла к балке. По тропинке мы поднялись чуть выше ее халупы, потом спустились на самое дно балки и подошли к яме.

Таких ям в наших местах много. Из них хозяйки берут глину на подмазку саманных домов, на затирание земляных полов. Эта яма была большая, просторная — видно, глину из нее брали давно. Чепуриха остановилась и взяла меня за руку.

«Как прихожу сюда за глиной, так притаюсь и жду. Земля сначала молчит, а уж потом, как прислушаюсь, из нее поднимается шум. Ровный, спорый, словно из большой морской раковины. Понимаешь, шумит тишина. Шумит и шумит. А в иные дни бывает так, что шум усиливается и получается гуд. И — щелчок. Далекий такой, неверный щелчок, а потом — снова гуд. Шумит, шумит... И все в тебе сдавливается, сердце замирает, а на душе становится не то страшно, не то прекрасно. Вся ты словно уже не тут живешь. Мысли какие-то странные, точно молодые, радостные, но вся ты не то что старой становишься, а умной очень. До самого последнего лоскутика все понимающей. Потом все затихает, сердце отпускает, и тишина опять начинает шуметь. Шумит, шумит... Как в раковине. И словно бы та раковина в тебе самой. Нет, ты сам послушай. Такому поверить на голос невозможно».

Мы залезли в яму, сели на корточки и притулились спинами и затылками к мягкой прохладной глине. Медленно умирали звуки, которые мы принесли с собой, и постепенно приходила полная, совершенная тишина. Она жила несколько минут, а может быть, и секунд, потому что время здесь, как, должно быть, в межпланетных полетах, двигалось по иным законам.

Потом из тишины стал прорезываться шум. Не гуд, а именно шум. Потому что гуд — это ровный звук, на одной ноте, а шум — это разноголосица, точно где-то глубоко под землей, а может, в стороне работают машины, или вразнобой бьют волны; или шумит далекий базар.

Мы долго прислушивались, и я, помню, стал даже различать в этом общем шуме как бы отдельные гуды. Сердце стало замирать, и от этого замирания на душе и в самом деле становилось не то страшно, не то прекрасно. Опять пришли мысли — очень умные, прозорливые, но какие именно — сказать было трудно: не хватало во мне чего-то. Это уж теперь я понимаю — не хватало знаний. Ведь чтобы понять собственные мысли, нужно сравнить их с чем-нибудь.

Когда мы вышли в балку, я и в самом деле чувствовал себя помолодевшим — тело стало легким, звенящим, упругим. И умным, мудрым. Словно передо мной открылось то, что недоступно другим.

«Ну вот, — задумчиво сказала Чепуриха, — сам слышал и сам пережил. А что это такое — не знаю. Только знаю, когда шум вдруг усилится так, что с потолка той ямы начинают сочиться подсохшие глинянки, — я жду сильных щелчков. В эти дни я из ямы не вылезая — сижу и жду. Как только услышу такие щелчки — так и бегу к вам, звать на разбой. Позову, а сама ухожу в степь. Иду, кружусь, петляю и просто сама чувствую —

молодею я. Молодею, и все тут. Что-то делается во мне невероятное, такое, что я и в самом деле верю — сидит под нашим бугром черт и чего-то наколдывает. И мнится мне, что рыба приплывает к нам как раз за тем, чтобы послушать, что ей этот самый черт наколдует».

Чепуриха вздохнула и сникла: она показалась грустной и мудрой.

«Потом все проходит, я возвращаюсь и потихоньку начинаю стареть. Старею, старею, а все не состарюсь. Ты думаешь, сколько мне лет?»

Она смотрела строго и отчужденно, словно в суде, ожидая приговора. Я смутился и пробормотал, что, наверное, за сорок.

«За сорок...— передразнила она.— Мне, милый ты мой малыш, скоро уж семьдесят стукнет. А я вон какая. В церковь сходить и то неприятно: мужики косятся. Хоть бы поослепли все до одного, кобели несчастные».

Столько горечи и злобы неожиданно прорвалось в ней, что я растерялся. Чепуриха отвернулась и долго смотрела на еле заметные тогда таганрогские огни.

«Ушла бы отсюда, новую бы жизнь наладила, но чувствую — не уйти. Как привязанная здесь живу».

«Почему?»

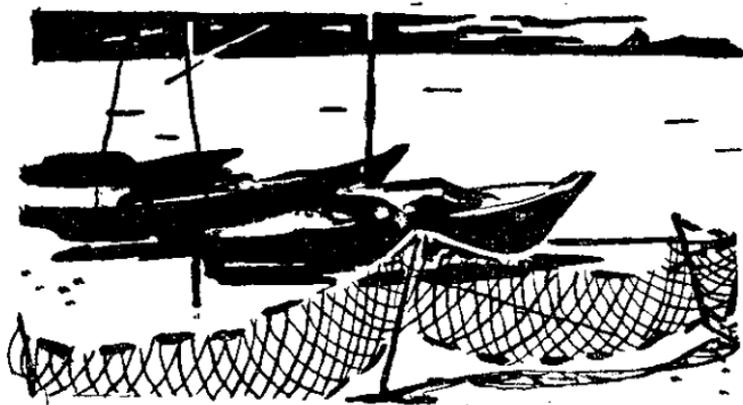
«А потому, что умирать мне не хочется. Понимаешь? Жизнь — уж больно интересная штука. Вот и вижу мало, а интересно. И еще... Еще хочется мне узнать, что же это сидит там, под бугром.— Она прижала руки к груди и страстно выдохнула: — Очень хочется! — И, словно застыдившись себя, сердито закончила: — Вот оттого и сижу здесь!»

...Старик умелк, и мы долго смотрели на теплое стекло воды. Залив был загадочно умиротворен, и впервые мне показалась неприятной эта умиротворенность. Я нетерпеливо спросил:

— А дальше что?

— Что ж дальше? Еще с месяц я просидел возле Чепурихи, послушал подземного черта, а когда отец поднял руку, я ушел. Нанялся матросом, кочевал. Потом война, революция, партизанил на Дальнем Востоке, учился кое-чему. Там и осел — тоже, доложу я вам, удивительный край. Потом вышел на пенсию, и времени думать у меня стало много. Лежишь под утро, не спишь, и начинаешь вспоминать. И вот как раз под такую раздумчивую минуту я услышал, что наша ракета ушла в сторону Венеры. И я подумал...

Даже не подумал, а представил — лежит сейчас наша ракета где ни то на Венере, а приборы на ней работают. Работают и шлют свои сигналы, которые мы поймать не можем, а тамшние, венерианские, обитатели приплывают к берегу и слушают их. И слушают не ушами — может быть, ушей у них еще и нет, а всем своим телом, каждой своей клеткой. Ведь, как вы, вероятно, знаете, красная рыба — осетр, белуга, севрюга, стерлядь — старейшие рыбы на нашей земле. Как они умудрились не измениться, я не знаю, но факт остается фактом: они самые древние обитатели нашей планеты. Улавливаете, что я хочу сказать?



— Вы думаете, что и под Чертовым бугром лежал какой-нибудь космический корабль, который излучал сигналы? Рыба чувствовала их телом, клетками и приплывала слушать эти сигналы.

— Вот именно. Известно же, что рыба реагирует и вроде бы даже переговаривается между собой с помощью всяких там инфра- и ультразвуков. И даже с помощью ею же создаваемого магнитного поля.

— Фантастично, но... логично.

Старик оживился и уже смелее, возбужденный, заговорил как о чем-то близком и выношенном:

— Вот именно эта логичность меня и убеждает. Как мы теперь, так когда-то другие мыслящие существа задумали отправиться на соседние планеты. Но они понимали, что наблюдение за такими планетами с помощью даже совершенных приборов еще не может дать для них достаточно материала. И прислали добросовестного автоматического разведчика. Он должен был сообщить, вероятно, немного — есть ли кислород или другой необходимый состав газов на нашей планете, температуру ее поверхности, может быть, некоторые особенности жизни. Я даже допускаю, что на нем были телевизионные установки. Разведчик прилетел, приземлился в центре огромного материка и начал добросовестно передавать сигналы. Но пока они долетели до пославши: — прошли годы, а может быть, и века. А тут на Земле случилась катастрофа, и разведчик погрузился в новое море. На него осаживались песок и глина, но он все слал и слал свои сигналы, верно и точно выполняя свою службу. Потом морское дно поднялось, вода отступила, и он оказался под бугром.



Должно быть, в его брюхе были мощные передатчики. Но могли ли они работать постоянно? Думаю, что нет. Потребовались бы огромные источники энергии. Значит, в разведчике были не очень сильные источники неведомой энергии, но зато мощные аккумуляторы. Энергия накапливалась в них постепенно, а в свой час — а час этот определяется по законам той планеты, откуда прилетел разведчик, — аккумуляторы срабатывали и выплескивали порцию сигналов, слушать которые приплывала самая древняя рыба на земле. Ну, а поскольку времяисчисление на той планете, которая прислала разведчика, было не таким, как на Земле, сигналы передавались, как нам казалось, нерегулярно. Просто мы тогда не умели уловить закономерности. Были для этого слишком темными и все списывали на нечистого.

— Логично, но почему вы думаете, что красная рыба больше никогда не приплывает к Чертову бугру?

— Уверен, не приплывает, — быстро откликнулся старик и погрузился. — Я уж тут разведку провел.

— И что же?

— В общем так... Еще в гражданскую войну эти места оккупировали немцы. В Чепурихинской балочке они организовали склад боеприпасов. Ну, его и... рванули. И видно, что-то сдвинулось: сколько я людей ни спрашивал, никогда больше красная рыба к бугру не приходила.

— А... Чепуриха?

— Так ведь что ж... Хибары Чепурихиной не осталось, а сама она куда-то уехала.

Мы опять замолкли. Я спросил:

— А в чем же, по-вашему, секрет чепурихинского долголетия? В каких-нибудь неведомых излучениях небесного разведчика?

— Конечно,— убежденно ответил старик.— Кто ж теперь не знает, что рак — это слишком быстрое и неуправляемое размножение клеток, которое, в частности, можно приостановить излучениями. А можно быть уверенным в том, что наука уже открыла все излучения? Вон ведь одних элементарных частиц уже больше сотни открыли, а все открывают и открывают. Так почему же мы не можем думать, что там, под Чертовым бугром, выбрасывались какие-то особые, может быть, еще не открытые, а может, и открытые, да неизученные излучения частиц, и они не только служили источником энергии для межзвездных сигналов, но и влияли на наши земные клетки, заставляли их быстрее и увереннее проходить цикл обновления? Я в это верю! И еще я верю, что найдут люди такие лучи или потоки каких-нибудь частиц, которые продлят человеку жизнь — ведь живут же некоторые по полтора века.

— Ну, это не от облучения...

— А вы это твердо знаете? Вы жизнь этих долгожителей исследовали? Заметьте, между прочим, кузнецы по всем правилам должны жить недолго, профессия вредная. А они живут дольше всех. Почему? А у огня. А огонь, он тоже, знает... Ведь в степи, в лесу, у костра... как у моря вот в такой час: и оторваться не можешь, и в сердце раздумье.

Мы снова смолкли и уставились в парной, дышащий тайной залив, а потом стали смотреть дальше — в открытое море.

Всходила полная багряная луна. Всходила она медленно, кособочась от усилий, и было в ее заспанном лике что-то необыкновенно привлекательное, домашнее.

Море зарозовело, и тут небо над Таганрогом опять заиграло огненными бликами, быстрыми и тревожными: мареновские печи выдавали плавку.

Багровые лунные отсветы и блики живого металла переливались на морской глади, тревожа сердце, поднимая в нем что-то забытое, деятельное, как будто вернулась молодость: хотелось выкинуть что-нибудь хлесткое, над чем можно будет посмеяться. И старик действительно рассмеялся.

— Нет, правы ученые, совершенно правы! Есть в нас какая-то особенная память. Должно быть, и в самом деле память клеток. Но думается мне... Одним словом, если севрюги и осетры выставляли свои носы, чтобы хлебнуть нашего прокаленного воздуха, то ведь видели же они и эту луну и наше солнце? Ведь они же зрячие. И уж если есть в наших клетках память моря и огня, то есть и память луны, память солнца, память звезд. Как вы думаете, есть? Понимаете, не в сознании, а в клетках!

— Логически должна быть. Ведь и луна, и солнце, и звезды всегда висели над всем живым и обязательно влияли на них. Потом, хотим мы того или не хотим, но ведь из космоса постоянно пробиваются к нам всевозможные излучения, и, вероятно, какие-то из них тоже влияют на нас. Но как — мы еще не знаем. И наконец...

Я осекаю. Старик явно не слушал. Он тихонько и счастливо смеялся.

— Так чего же бсится писатель Ефремов? Что память наших клеток помешает нам в межзвездных путешествиях? Наоборот! Как раз наоборот! Именно память клеток толкает нас вперед, к звездам. Ведь если севрюги, понимаете, самые старые рыбы на Земле, рвались вверх, к Солнцу, то что говорить о человеке? Как же должен рваться человек! Ведь в его клетках память и амёб, и севрюг, и крякутных, и летчиков и космонавтов. И все они рвались к Солнцу, к звездам. Вот потому я и думаю — память человеческих клеток не только не будет мешать в космических полетах, а наоборот, поведет людей туда, где не бывала даже их мечта. И это неизвестное, но угадываемое будет прекрасно.

Старик торжествующе смолк, а я облегченно рассмеялся и подумал, что мь: излишне часто непривычные мысли, всплески неясных чувств принимаем за опасное отклонение от нормы, забывая, что, может быть, как раз в них и есть будущее.

